

Андрей Белый

ТРИЛОГИЯ • II

НАЧАЛО ВЕКА

МЕМОАРЫ

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Б43

Белый, А.

Б43 Трилогия. Часть II. Начало века / А. Белый. — М.: T8RUGRAM, 2018. — 550 с.

Андрей Белый (1880—1934) — известный писатель Серебряного века, поэт, критик, мемуарист, один из ведущих деятелей русского символизма и модернизма.

«Начало века» — вторая книга из мемуарной трилогии А. Белого, представляющая собой воспоминания событий 1901—1905 годов, в которых происходит зарождение русского символизма. Блестяще воссозданная атмосфера России начала XX века с яркими портретами её ведущих представителей, литераторов и художников, в сочетании с невероятно образным, эмоциональным языком будет интересна широкому кругу читателей.

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)
ВІС FC
BISAC FIC000000

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА.....	5
ГЛАВА ПЕРВАЯ. «АРГОНАВТЫ»	19
ГЛАВА ВТОРАЯ. АВТОРСТВО	137
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. РАЗНОВОЙ	279
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. МУЗЕЙ ПАНОПТИКУМ.....	399

ОТ АВТОРА

Эти мемуары вызывают к ряду оговорок, чтобы автор был правильно понят.

За истекшее тридцатилетие мы пережили глубокий сдвиг; такого не знала история предшествующих столетий; современная молодежь развивается в условиях, ничем не напоминающих условия, в которых воспитывался я и мои сверстники; воспитание, образование, круг чтения, обстание, психология, общественность, — все иное; мы не читали того, что читают теперь; современной молодежи не нужно обременять себя тем, чем мы переобременяли себя; даже поступки, кажущиеся дикими и предосудительными в наши дни, котировались подчас как подвиг в мое время; и потому-то нельзя переводить воспоминаний о далеком прошлом по прямому проводу на язык нашего времени; именно в языке, в экспозиции, в характеристике роя лиц, мелькающих со страниц этой книги, может произойти стык с современностью; я на него иду; и — сознательно: моя задача не в том, чтоб написать книгу итогов, где каждое явление названо своим именем, любой поступок оценен и учтен на весах современности; то, что я показываю, нам и не близко, и не современно; но — характеристично, симптоматично для первых годов начала века; я беру себя, свое обстание, друзей, врагов так, как они выглядели молодому человеку с неустановившимися критериями, выбивавшемуся вместе с друзьями из топившей нас рутины.

Современная молодежь растет, развивается, мыслит, любит и ненавидит, не чувствуя отрыва от коллективов, в которых она складывается; эти коллективы идут в ногу с основными политическими, идеологическими устремлениями нашего социалистического государства.

Независимая молодежь того социального строя, в котором рос я, развивалась наперекор всему обстанию; прежде чем даже встретиться, чтобы соединиться против господствующего штампа, каждый из нас выбарахтывался, как умел; без поддержки государства, общества, наконец, семьи; в первых встречах даже с единомышленниками уже чувствовалась разбитость, ободранность жизнью; не знать счастливого детства, не иметь поддержки, утаивать даже в себе то, что есть в тебе законный жест молодости, — как это далеко от нас!

Воспитанные в традициях жизни, которые претят, в условиях антигигиеничных, без физкультуры, нормального отдыха, веселых песен, товарищеской солидарности, не имея возможности отдаться тому, к чему тебя влечет инстинкт здоровой природы, — мы начинали полукалеками жизнь; юноша в двадцать лет был уже неврастеником, самопротиворечивым истериком или безвольным ироником с разорванной душой; все не колеблющееся, не имеющее противоречий, четко сформулированное, сильное не внутренней убежденностью, а механическим давлением огромного коллективного пресса, — все это составляло рутину, которую надо было взрывать скудными средствами субъективного негодования и независимости; но и это негодование зачастую затаивалось, чтобы не раздражить блюстителей порядка и быта.

Режим самодержавия, православия и официальной народности охранялся пушками и штыками, полицией и охранкой. Могла ли общественность развиваться нормально? Общественные коллективы влачили жалкое существование, да и то влачили его потому, что выявили безвольную неврастению под формой либерального фразерства, которому — грош цена; почва, на которой они развивались, была гнилая; протест против «дурного городского» использовался кандидатами на «городового получше»; «городовой получше» — от капиталиста, который должен был собой заменить «городового от царя»; «городовой от царя» устарея; капитализм, добиваясь свободы для себя, избрал средства угнетения посильней; пресс, более гнетущий, чем зуботычина, был одет в лайковую перчатку конституционной лояльности; бессильные либеральные говорильни выдавали себя за органы независимости; но они были и до свержения самодержавия во власти «городового получше», который — похуже еще.

Наконец: и в гнилом государственном организме, и в либерально-буржуазной интеллигенции сквозь все слои ощущался отвратительный, пронизывающий припах мирового мещанства, быт которого особенно упорен, особенно трудно изменяем при всех политических переворотах.

«Городовой от царя» — давил тюремными стенами; либерал — давил фразами, ореолом своей «светлой личности», которая чаще всего оказывалась «пустой личностью»; мещанин давил бытом, т.е. каждой минутой своего бытия. Независимый ребенок, ощущающий фальшь

тройного насилия, сперва уродовался палочной субординацией (семейной, школьной, государственной); потом он душевно опустошался в «пустой словесности»; наконец, он заражался инфекцией мещанства, разлагавшего незаметно, но точно и прочно.

Таково — обстание, в котором находился ребенок интеллигентной семьи средней руки еще до встречи с жизнью. Я воспитывался в сравнительно лучших условиях; но и мне детство стоит, облитое соленой слезой; горькое, едкое детство!

Каждый из друзей моей юности мог бы написать свою книгу «На рубеже». Вспоминаю рассказы детства Л.Л. Кобылинского, А.С. Петровского и скольких других: волосы встают дыбом!

Неудивительно, что, встретясь позднее друг с другом, мы и в линии общей нашей борьбы с культурной рутинной не могли выявить в первых годах самостоятельной жизни ничего, кроме противоречий; скажу более: ими и гордилась часто молодежь моего времени, как боевыми ранами; ведь не было не контуженного жизнью среди нас; тип раздвоенного чудака, субъективиста был поэтому част среди лучших, наиболее нервных и чутких юношей моего времени; теперь юноше нечего отстаивать себя; он мечтает о большем: об отстаивании поработенных всего мира.

В мое время — все общее, «нормальное», не субъективное, неудачливое шло по линии наименьшего сопротивления: в моем кругу. И потому среди молодежи, вышедшей из средне-высшей интеллигенции, «нормальна» была — разве опухоль мещанского благополучия (один из «образованных» родителей моего друга для здоровья давал сыну деньги, советуя ему посещать публичные дома); «здоровая» была главным образом тупость; «общая» была безответственная умеренно-либеральная болтовня, в которой упражнялись и Ковалевские и... Рябушинские; социальность означала чаще всего... покладистый нрав.

Иные из нас, задыхаясь во все заливающим мещанстве, в пике обстанию аплодировали всему «ненормальному», «необщему», «болезненному», выявляя себя и антисоциально; «чудак» был неизбежен в нашей среде; «чужаков» была контузией, полученной в детстве, и произвольным «мимикри»: «чужаку» позволено было то, что с «нормального» взыскивалось.

Меня спросят: почему же молодежь моего круга мало полнила кадры революционной интеллигенции? Она отчасти и шла в революцию; не шла — те, кто в силу условий развития оставались социально неграмотными; или те, кто с юности ставили задачи, казавшиеся несовместимыми с активной революционной борьбой; так, например, я: будучи социально неграмотен до 1905 года, уже с 1897 года поволил собственную систему философии; поскольку мне ставились препоны к элементарному чтению намеченных книг, поскольку нельзя было и заикнуться о желанном писательстве в нашем доме, все силы ушли на одоление быта, который я зарисовал в книге «На рубеже двух столетий».

То же произошло с друзьями; мы, будучи в развитии, в образовании скорей среди первых, чем среди последних, оставались долгое время в неведении относительно причин нас истреблявшей заразы; из этого не вытекает, что мы были хуже других; мы были — лучше многих из наших сверстников.

Но мы были «чудаки», раздвоенные, надорванные: жизнью до «жизни»; пусть читатель не думает, что я выставляю «чудака» под диплом; — «чудак» в моем описании — лишь жертва борьбы с условиями жизни; это тот, кто не так боролся, не с того конца боролся, индивидуально боролся; и от этого вышел особенно деформированным.

Изображая себя «чудаком», описывая непонятные для нашего времени «шалости» (от «шалый») моих сверстников, я прошу читательскую молодежь понять: речь идет о действительности, не имеющей ничего общего с нашим временем, о действительности нашего былого подполья, наградившего нас печатью субъективизма и анархизма: в ряде жизненных выявлений.

Я хочу, чтобы меня поняли: «чудак» в условиях современности — отрицательный тип; «чудак» в условиях описываемой эпохи — инвалид, заслуживающий уважительного внимания.

Странен для нашего времени образовательный стаж наиболее образованных людей моего времени; я рос в обстании профессоров, среди которых был ряд имен европейской известности; с четырех лет я разбираюсь в гуле имен вокруг меня: Дарвин, Геккель, Спенсер, Милль, Кант, Шопенгауэр, Вагнер, Вирхов, Гельмгольц, Лагранж, Пуанкаре, Коперник и т.д. Не было одного имени — Маркс. Всю юность ви-

дывал я экономиста Янжула; ребенком прислушивался к словам Ковалевского; имена Милль, Спенсер, Дарвин слетали с их уст; имя Маркса — нет; о Марксе, как позднее открылось, говаривал лишь Танеев (в контексте с Фурье и Прудоном). Мой отец кроме тонкого знания математической литературы был очень философски начитан; изучил Канта, Лейбница, Спинозу, Локка, Юма, Милля, Спенсера, Гегеля; все свободное время глотал он трактаты, посвященные проблемам индивидуальной и социальной психологии: читал Бена, Рише, Жане, Гербарта, Альфреда Фуллье, Тарда, Вундта, Гефдинга и т.д.; но никогда им не были произнесены имена: Маркс, Энгельс; позднее я раз спросил его что-то о Марксе; он отозвался со сдержанным уважением; и — переменил разговор: видимо, он не прочел и строчки Маркса. Отец Кобылинского, образованнейший, талантливый, независимый педагог, глубоко страдал, когда его сын отдался чтению Маркса; либеральнейший Стороженко козырял и именами, сочинения которых не читал; за двадцать лет частого сидения перед ним я не слышал от него только имени Маркса. Молчание походило б на заговор, если бы не факт: никто из меня обставших ученых европейской известности не прочел, очевидно, ни Маркса, ни Энгельса.

Так что — первый раз имя Маркса мне прозвучало в гимназии, когда один шестиклассник в ответ на мои разглагольствования, в которых пестрели имена Шопенгауэр, Кант, Льюис, Соловьев, мне противопоставил имена Струве, Туган-Барановский, Маркс; казались смешными возражения «какого-то» Маркса; возражал бы от Бюхнера и Молешотта, с учениями которых я был знаком по брошюрам и главным образом по полемике с ними «Вопросов философии и психологии»; а то — Маркс: «какой-то» Маркс!

Стыдно признаться: до 1902 года я не отличал утопического социализма от научного марксизма; мой неинтерес к первому отодвигал Маркса от меня; придвинули мне Маркса факты: рабочее движение в России; тогда впервые узнал я о Ленине.

Это значило: я воспитывался в среде, где о Марксе (не говорю уж о Ленине) не хотели знать.

Характеризуя себя и сверстников в первых годах самостоятельной жизни, я должен сказать, что до окончания естественного факультета я не читал: Маркса, Энгельса, Прудона, Фурье, Сен-Симона, энцикло-

педистов (Дидро, Даламбера), Вольтера, Руссо, Герцена, Бакунина, Огюста Конта, Бюхнера, Молешотта, стыжусь, — Чернышевского (?!), Ленина; не читал большинства сочинений Гегеля, не читал Локка, Юма, очень многих эмпиристов XVIII и XIX столетия; все это надо знать читателю, чтобы понимать меня в описываемом отрезке лет (Юма, Локка, Маркса, Энгельса, Герцена, Конта, Гегеля я читал потом). Что же я читал?

Лейбница, Канта, Шопенгауэра, Рия, Вундта, Гефдинга, Милля, Спенсера, Владимира Соловьева, Гартмана, Ницше, Платона, «Опыты» Бэкона (Веруламского), Оствальда, Гельмгольца, Уэвеля, ряд сочинений по философии естествознания (между прочим, Дарвина), истории наук, истории философий, истории культур, журнал «Вопросы философии и психологии»; я прочел множество книг по психологии, переполнявших библиотеку отца, — книг, из которых большинство читать и не следовало. И кроме того: я прочел множество эстетических трактатов моего времени, путая их с трактатами прошлого: чтение Белинского (в седьмом классе гимназии) шло вперебив с Рескиным, которым я увлекался; чтение эстетических трактатов Шиллера шло вперебив с писанием собственных юношеских «эстетик» (под влиянием эстетики Шопенгауэра).

Кругом чтения обусловлен комплекс цитат в статьях описываемого периода; борясь с Кантом, что мог я противопоставить Канту? Желанье преодолеть угнетающую меня философию привело к ложному решению: преодолеть ее в средствах неокантианской терминологии; тогдашние неокантианцы выдавали свою «наукopodobную» теорию за научную (на ее «научность» ловились и физики); я шел «преодолевать» Канта изучением методологий Рия, Риккерта, Когена и Наторпа, в надежде, что из перестановки их терминов и из ловления их в противоречиях обнаружится брешь, в которую я пройду, освобождаясь от Канта; я волил своей теории символизма и видел антикантианской ее; но я думал ее построить на «анти» — вместо того, чтобы начать с формулировки основных собственных тезисов.

Из «анти» не получилось системы, кроме конспекта к ней; и потому символизм в моих познавательных экскурсах выглядел и шатко, и двойственно; и выходило: «символ» — ни то ни это, ни пятое ни деся-